

# Станислав Мишинев

---

*дер. Старый Двор, Вологодская область*

## Колька с Великой

На сельском кладбище, на заброшенной, лет двадцать никем не посещаемой могиле однажды под самую Радунницу кто-то прислонил к березе небольшую гранитную плиту, на которой не было ни имени, ни дат рождения и смерти, лишь курсивом прочерчены слова: «Оставьте мёртвых в покое». Читали эти слова здешние жители, хмыкали, пожимали плечами: чудаки какие-то объявились, разве кто тревожит мертвых? Наоборот, кладбище год от году наряднее, оградки красятся, мусор убирается, проезд через кладбище закрыли, чем люди недовольны? Вроде, хоронить умерших на своём кладбище власти разрешают, уж не божий ли знак? Даже старики не могли вспомнить, кого хоронили на «том месте». Побрела по свету беспокойная маэта: а, может быть... грозные тучи уже собираются, фатальный конец света близко?

Протекло какое-то время, и совершилось чудное явление: ночью, на месте бывшей часовни видели много зажженных свечей, вокруг их кто-то ходил, шарил на земле и тяжело вздыхал... потом послышался треск выдираемых половиц (часовню испилили на дрова), и свидетель в страхе бежал прочь. Тут заговорили о юродивом Куне – жил такой полунищий мужичок с оловянными глазами. Кто его однажды увидел, тот не забудет лицо, полное дикой свирепости. Когда он вешал про ад (рая в его понима-

нии никогда не было), казалось, в груди его разливается пламя жгучего страдания: «В клубе будут жить пастухи! Прибежит стадо волков, будут волки грызть кости человеческие! Куня видит сковороду с деньгами... смерть!»

Осенью сельскую дорогу, узенькую, просыпанную тонким слоем гравия, раздавили большегрузные машины. Дорога стала походить на корыто, наполненное грязно-желтым тестом. Не раз выходил к дороге пенсионер Иван Иванович Коровин, щупал тяжелыми и жесткими натруженными руками перекопанный песок, вздыхал. Морщинистое, сухое лицо его с густыми седыми бровями скорбно-озабочено. Подходил к спешащим шоферам, каким-то растерянным взглядом смотрел на машины, говорил тем, кто спрашивал, чего деду в избе не сидится:

— Тяжело досталась нам эта дорога... Знаешь, сколько мужиков да парней ушло погибать по этой дороге?

— Мы тебе, дед, шоссе «Москва – Варшава» закатаем! – кричал из кабины тощий парень. Лицо у парня тонкое, даже чуток печальное, гладко зачесанные волосы по-бабы собраны на затылке в упругую корону.

— Нам, милок, не надо Варшавы, вы бы нас не трогали, а?

— Дед, не вешай головы, не печаль хозяина!

Чем больше гудело на дороге машин, тем неспокойнее становилось на душе у Ивана Ивановича: зачем, куда ладят такую широкую дорогу? Куда – это он догадывался: скорее всего, дорога обогнёт деревню Великую, – двадцать метров всего ширина между домами, а если обогнёт, так дальше куда?

Сегодня малая луна хозяйничает над деревней Великой. Сухой, шипучий снег роится вокруг единственного фонаря на деревенской улице. Фонарь не горит, он отгорел лет десять назад. Сегодня любо постоять на улице, послушать тишину, взглядеться в небо. Вчера ночью, сырой и тяжёлой, Иван Иванович в беспокойстве выходил из избы, смотрел вдаль, в ту сторону, откуда идёт беда; тут в узком лезвии прищемлённого света мелькнули нахохлившиеся прутья черемухи – шла машина. «Колька! – чуть не закричал от радости Иван Иванович, уж было повернулся, хотел бежать в избу и сказать жене, что сын в гости едет, но лезвие света ткнулось туда-сюда и сгинуло. – А чего наш Колька забыл...»

И сегодня в Иване Ивановиче жило ожидание повторения вчерашней ночи: вдруг да вчера Колька не доехал по какой-то

причине до родительского дома? Сегодня, значит, доедет. «Ужо, дам я тебе! – ругнулся про себя Иван Иванович. Это точно: выматерит, нагрубит, а после сам себя гладить будет не одну неделю. Боится Иван Иванович нежности, доброты своей натуры, грубостью он как защищается, сохраняя в душе, как в скорлупе, мягкую сердцевину своего характера.

Походил по голой улице, валенками притоптал борта набросанного днём снега, сходил в сарай, вынес суковатую чурку и колун. Дай, думает, разобью чурку, спать легче стану: размялся.

Днём Иван Иванович был в гостях у Васи Лысого Умника – так его вся волость величает. Лоб у Васи большой, лицо в веснушках, шея, как старое голенище, всегда обмотана шарфом, вместо левой ноги протез. Вася Лысый Умник одинаково любит всех древних мыслителей от Греции до Китая. Последние три года пишет возвышенным стилем свою книгу «Из земли в землю». Презрение и негодование искажает лицо Васи Лысого Умника, когда видит по телевизору, как бездарные политики, торопливо и суетливо ёрзая челюстями, живописно превращают действительность в сон.

Сидит Вася за столом, ковыряет ногтем столешницу, медленно говорит:

- До весны бы дотянуть, а там...
- Для красоты мысли представим стаи скворцов, куликов, журавлей, – добавляет Иван Иванович.
- Ты бы сползл на черемуху, приладил скворечник, – просит Вася Лысый Умник.
- Прилажу, чего не приладить. Я в молодости ту ночь не спал, как черемуха у бани зацвела. И жене спать не давал. Смотри, говорю, нюхай, запоминай, да-а...
- Каждое время интересно, Иван Иваныч, но оглянуться в прошлое по книге – одно, прожить самому – другое. Это как живая вода и мёртвая вода.

Фантастичнее действительности во сне не увидеть, не выдумать и не сочинить. Такие фортели выкидывает подчас она, что в книгах не прочитать, умом не обнять. Умиление и слёзы, негодование и трогательная нежность, любопытство, побуждение, страсть, – Господи, великий и всемогущий, да сколько непознанного и удивительного, умилительного и страшного рождается каждый день в великой муке сомнений. Человек враг сам себе; он замучен своими неугомонными мыслями, они и прокляты и

низвержены, и спасены одновременно, и обласканы, и отвержены – всю жизнь он, кузнец своей действительности, её палач и защитник, для каждого шага находит причины, бьёт молотом по этой действительности, плющит и правит, того не понимая, что всякий раз его руку заносит кто-то другой, только не он. Оглянется во вчерашний день человек, в своё детство – боже милостивый! – неужели он жил, во всё верил, переживал? – да нет, не может быть, всё ещё впереди, а сзади – сны; кто-то другой, безликая тень сопровождала рядом, и всё торопила, торопила... кто-то другой смеялся вместо него, любил за него, учился в школе, служил в армии, бросал охапки черемухи в окна невестам... мешаются дни, годы, жизнь чудным образом обращается в полёт, за горами, за долами сгорают мечты, полёт всё ниже, теснее к земле, годы несутся в бездонный провал... в печальный и зловещий сон.

Луна опускается за горизонт. Отодвинуты шторы на окнах, – за окном опять вернувшееся детство; свыкся месяц с шершавым снегом, обласкал небольшой кусок божьей земли своей милостью – на большее сил не хватает, льёт в избу привязанность к родным местам, сострадание к ушедшим в мир иной; устал месяц, он ещё совсем дитя, от роду ему одна неделя, ищет дитя защиты, а защитить его и всё продолжение жизни защитить может только одна Земля – как ребёнок жмётся к груди матери, прижался, – большая мать обласкала дитё кроваво-золотым счастьем, и дитя стало засыпать, кутаясь под густой материнский сумрак.

Говорит Иван Иванович жене:

- Поговори с парнём.
- Возьми да и поговори, – басисто отвечает жена.

Она вяжет носок, вроде, понимает, о чём телевизор «гундит», вроде, это вчера «выпевали» или на днях было...

- Поговори, – повторил сердито.
- А чего спросить? – сдалась жена
- Чего, чего... здоров ли, чего ещё? Не заскочит ли когда...

Кино бы посмотреть простенькое, старинное, родное, да все программы на один узор: деньги- деньги, стрельба, драки, людей бьют как мух, девки голые, пляжи заморские, олигархи, сплошной разбой. Каждый день из казны уплывают миллиарды рублей за кордон, каждый день сажают в тюрьмы, чиновничья рать подобна стаду голодных свиней, сунувших морды в корыто

с деньгами: жрут, жрут, не смотрят по сторонам, случись бандиту передохнуть, отвалиться от корыта, его уж затоптали.

Сын Ивана Ивановича Колька живёт в райцентре. Был два раза женат, приводил жить трёх дам на вольные хлеба, не живётся бабам. В детстве был Колька тихий, смирный, хотя и немного придуроватый. Придусть Кольки особенная: подарит девчонке конфетку, а взамен теребнёт за волосы, или плонет в лицо и давай хохотать. С годами придусть ушла, стал Колька с девчтами обходителен, только те, кому он однажды плонул в лицо, всё равно считали парня «волчий сват»,— родился Колька на Николу Студёного, а это примета плохая. Сорок шесть лет Кольке, и зовут его райцентровские жители Микола с Великой — в деревне Великой Колька появился на свет. Женщинам он не верил никогда, называл и называет сосудами мерзости, но что странно, жить без этих сосудов не может. По его мнению, женщину бог сотворил для того, чтобы наставлять мужику рога, чтобы бегать по магазинам, строить обманутому мужу глазки и постоянно «доить» его — женщинам вечно не хватает денег. Колька в сорок шесть выглядит роскошным партнёром: рослый, широкоплечий, у него большой нос, большие серые глаза, грустный, уклончивый, но не безвольный взгляд, упрямый лоб — лицо расчётилового крестьянина. Водку пьёт «чужую» — «чужая» идёт легче, любит, когда его угождают и называют по имени-отчеству, но меру в водке знает. Деньжат проживающим с ним женщинам, не даёт. Наоборот, он не прочь вытянуть из них всё; любитель злых подковырок и шуточек: «Расскажи, душа моя, сколько ты мужиков через себя пропустила? Ну, ну, не стесняйся, дело житейское. Вот, слух идёт, ты этому... в бане спину трала, а?» У последней сожительницы был взрослый сын. После техникума осенью его бы призвали в армию, но случилось так, что вместо армии он чуть не загремел в тюрьму. Сожительница изладилась зубастая, любила повторять «живём не в городе, носим на вороту», мужчина ей слово, она в ответ выплеснёт десять. Микола с Великой как-то обругал женщину «ментовской подстилкой» — на лицо сожительницы легла печать грусти и величавой строгой думы, слова не сказала в оправдание, всю ночь плакала, а сын зажимал кулаки и бросал на дверь комнаты хозяина квартиры испепеляющие взгляды. Однажды Микола с Великой пришёл домой подпивши, сожительница сняла с него сырье сапоги, усадила за стол, а он в задир: разве у него богадельня, чтоб всех

сирых и убогих кормить? Сын сожительницы готовился идти в десантные войска, не сдержался, вынес обидчику два передних зуба. Колька тут же заявил в милицию, парня – при сотрудниках порывался «убить гада!» и разбил заявителю бровь – посадили в СИЗО. Сожительница съехала с квартиры, на коленях умолила Миколу с Великой не губить парню жизнь – Колька взыскал отступные на зубные коронки да плюс моральный ущерб в пять тысяч рублей. И чего не живётся бабам у Миколы с Великой? Квартира двухкомнатная со всеми удобствами, дом кирпичный, в гараже только что не ржёт от радости иностранный скакун, зарабатывает много и на хорошем счету у хозяина...

Колька в данный час запоздалого вечера, как и отец, лежит на диване, смотрит телевизор. Орут, скачут всякие обезьяны по сценам, где-то тонут корабли, на пешеходных переходах давят людей, Президент сегодня щедро даёт, завтра обещает наказать – каша, каша, однообразная пустая болтовня. Тёмные слухи тянутся за Миколой с Великой: перед хозяином лебезит, баб заманивает к себе, мужиков закладывает, топливо подворовывает... Свои, деревенские, сказали бы, какой наглец ихний Колька, какой жестокий и холодный человек этот «волчий сват», да не скажут. Поворчать, пожелают «ни дна, ни покрышки», на том и весь обвинительный приговор. А «волчий сват» в ответ своей деревне лет десять назад выставил оправдание: вы, земляки, мохом обросли. Вы обижены на меня, а потому обижены, что у вас мозгов нет. Суды-пересуды, шипящая злоба, а вам обижаться на самих себя надо. Кругом рушатся крепости социализма, ушлые люди делят Волгу и лосей, заводы и военные базы, а вы, мякинны брюха, всё чего-то ждёте, на что-то надеетесь, бамбук курите. Тащить надо, тащить! Своё брать!

Колька работает в карьере на большом американском тракторе. Фамилия его хозяина Лошат, но весь район (даже начальники) зовёт его Лошадью. Биография Лошата темнее тёмной осенней ночи. Одни говорят, что скрывался в Америке, другие – из бывших военных моряков, отрубил «десятку» от звонка до звонка по мокрому делу, но Лошадь баллотироваться во властные структуры не желает, потому, чей он да откуда, да сколько миллионов у него на счетах в иностранных банках – закрытая тема. У Лошади три «жеребенка» – крепкие, бритоголовые бандюганы. Под Лошадью прогибается районный князь, – нищей власти постоянно нужны доноры. Прошлым 9

летом он спонсировал прокурора – захотел прокурор провесить версию о захоронении взяточников живьём подле ног фараонов. Средней школе подарил несколько компьютеров, за такую щедрость директор школы называл благодетеля по областному телевещанию «спасителем России». Подобно Петру I любит артиллерийский грохот, в день ярмарки село со многими домами выбрасывается под облака – Лошадь – ты наш кумир! Он помнит классику: дайте толпе хлеб и вино, и толпа понесёт вас на руках. Гуляй, челядь, не думай много, спокойнее спать. Лошадь подкупает и одновременно отталкивает народ внешним лоском и блеском, тихим, вкрадчивым поведением, испытующим взглядом. Он выслушает любого обратившегося к нему (кивками головы как подталкивает просителя, мол, знаю, сам рылся в мусорных контейнерах), скажет приветливое слово, даст совет, но не даст денег, и руку пожмёт на прощание, а то и побьёт по плечу: приходи ещё, я свой, я за вас.

Колька после армии поработал четыре года на колесном тракторе, видит, что колхоз начал баражаться в тине непонятных реформ, год от году начальники становятся тупее, во всех бедах винят Америку, не понимают, что творится кругом, что говорить о доярках и трактористах? – и начал Колька помогать разваливать колхоз. Посыпает бригадир везти на ферму фураж, а у тракториста Кольки Коровина встречный вопрос: «Михалыч, дорогой ты наш! Да когда Колька отказывался, когда он отлынивал? Вот такое дело, Михалыч: чем платить будете?». «Да ты такой же колхозник, как и я! Мне-то чего платят?» «Михалыч, ты бригадир, лицо должностное, будете колхоз по паям раздирать, себя не обидите? Нет, а Кольке Коровину фигу с маслом? Ты языком пай выхлопочешь, а мне чем? Только горбом: беру три мешка. Что касается остальных – меня не колышет». Будто подарил конфетку и в лицо плюнул. В шею бы такого вымогателя выбить надо, да не выбьешь: кончается механизаторская братия. Тащит домой всякое железо – пригодится потом, три ночи разбирал в пустующей колхозной столярке деревообрабатывающий станок – через широкое окно вынес частями, тяжелую станину выдирал трактором. Отец матерился: «Ты с ума сошёл! Посадят!» Колька только усмехался: «Не-е, не посадят. Воры пишут законы для воров». Разобрал новеньнюю сушилку – валы роторов электродвигателей пилил пилкой по железу, снял с гусеничного трактора все четыре каретки –

«А списан трактор! – ецё накричал на стыдившего его механика.– Это батьков пай! Верхи миллиарды тянут, а работяге утиля жаль? На днях слух прошёл, ты себе купил мешок сахарного песку, а квиток провёл в канторе запчастями. Не было такого? Так что, дорогой ты наш, не судите, да не судимы будете». Первым из деревенских Колька купил в райцентре квартиру. Крохами воровал, помогал настоящим ворам грабить колхоз.

Днём у входа в магазин видит Колька такую картину: стоит мужик без шапки, ветер шевелит его седеющие космы. Фуфайка замасленная на мужике, без пуговиц, под фуфайкой застиранная тельняшка. Лицо обветренное, худое, и застыла на этом лице растерянность. Рядом стоит девочка лет семи, наряжена во всякое рванье, сосёт кем-то подаренную конфету.

– Подайте Христа ради, войдите в положение...

Смотрят на Кольку пустые тоскливые глаза.

Колька молча прошёл в магазин, купил хлеба, две банки тушеники, когда расплакивался, велел кассирше присчитать шоколадку.

На улице шоколадку затолкал в подставленный девочкой карман на шубейке.

– Дай вам, Господи, лиха не знать... мамка у нас того... умерла мамка.

Свысока взглянул на мужика Колька, желчно и зло сказал:

– Работать надо, мамка.

Затем, желая нужным пояснить свою речь, презрительно и сурохо сказал:

– Тут не стой, ты туда иди, в Белый дом, к левым и правым!

И, не получив в ответ никаких оправдательных слов, плюнул себе под ноги.

«Вот что такое детство? А? – говорит Колька Коровин сам с собой.– Наивный вопрос. Мамка у него умерла... Поди, сетку от кровати и ту пропил, мамка... А тебе скажу про своё детство: выскочишь босиком в морозную ночь посикать возле крыльца, и бесконечный мир, как большой бабкин чугун, перевернутый верх дном, глухой, зябкий, страшный, в миг сожмёт маленькое тельце... я распахнул глазенки, ушёл в слух – должно быть, волки сидят в зарослях малинника, и хотят меня съесть... подавляя своей незримой мощью, будто дышащее море, со всех сторон наползает страх... ленивой зыбью страх кочует от электрических проводов до самой крыши и там набирается сил, чтобы упасть

на меня сверху и затолкать в снег, заморозить... как непрочна людская радость, радость открытия мира. Обратно в избу бегу, не чувствуя замерших ног, я видел такое!.. такое! – и, главное, жив, меня не съели волки».

Поговорил Колька с матерью, о том, о сём; чего, спрашивает, батя делает:

– Бока тоит, чего твоему бате ещё делать.

– А-а... привет от меня. Не забыли дом и улицу, где я живу?..

Не забывайте, скоро вас выселять станут.

– Сойди с шального места!

Положила жена мобильник, хмыкнула:

– Выселять, говорит, станут. С ума ли?

– В Магадан или на Печеру? Эх, родись наш Колька раньше, вот бы поизмывался над народом...

– То дак звони, то дак... а слова вещими бывают, – обиженно говорит жена.

Пока ещё стоят кое-где по Руси деревни, из труб идёт дым.

Стоит на угоре деревня Великая. Полумертвая деревня. На последние выборы – выбирали местную власть из самых достойных радетелей, голосовать пришло четыре человека, остальные не верят никому. Из сорока шести домов у пятнадцати истерзанных провалились крыши, шесть домов с забитыми досками окнами. Бежит под деревней родниковая речка Кудряга, раньше, старожилы говорили, в Кудряге щуки водились, воду на самовар только из Кудряги брали, теперь река обмелела – петух перебредёт, берега обросли ольхой, наволоки от Ельцинских реформ не кошены. Всей радости былой омут на Широком мысу. Весной, когда мир очнётся от дрёмы, плывёт по деревне волнующий запах цветущих черёмух. Деревня тонет в белых облаках; жаль, некому черемуху бросать в распахнутые окна: два пятиклассника, вот и вся подрастающая сила. Не веселит душу весна: где мощный рокот тракторов, ожидание чего-то нового, где нападающий зуд – надо пахать, надо сеять! – в сердце деревни нашла пристанище огромная печаль: вымирает деревня. «Никому мы не нужны, и толку от нас никакого – сеют деревенские жители. – Живём, небо коптим. А с другого боку забреши: мы ли не робили, мы ли...»

Был колхоз – растащили. Райцентр стал похож на многоглавого исполинского зверя, и терзает этот зверь деревню, и вытягивает из неё все соки. Вытянул землю – нет больше кол-

хозной земли, вся земля, оказывается, теперь... Стреляй любого жителя деревни Великой, огнём пытай – не скажет, кто на его земле теперь хозяин, потому, что не знает он. Вытянул тех, кому до пенсии лет двадцать. Вытягивает лес – нельзя на дрова рубить даже ольху по заросшим межам. Нынче колхозный лес отдан... в аренду. Кому, кто отдал, кто голосовал?

Э-э, махни рукой в любую сторону, не всё ли равно барану, кто его стрижёт? Через минуту рука к затылку лезет: обидно, однако. Не всё равно! Было всё колхозное, общее, наше, пускай ничейное, но наше! Было, проклинал народ колхоз, проклинал колхозные порядки, подъедали руководителей – начальство по одну руку, бараны по другую, но сегодняшний баран завтра мог стать председателем колхоза, и ничего, ничего от смены власти не менялось, наоборот, к власти приходили равнодушные, как сонные люди. Был колхоз «черной дырой», был испытательным полигоном, но ведь как-то старались жить по чести, по совести...

Бывает, горит колхозный лес. По ночному небосклону пылает зарево, освещая кровавым пожаром небо. А чего лесу не гореть, заготовители рвут делянки, кому бы больше выхлестать кубатуры. Сучья под гусеницу, вершину короедам, пень муравьям, отвалили от сосны два бревна и «давай!» «Давай!» Бывшие колхозники на лесной пожар реагируют односторонне: а гори оно ярким пламенем! Районные лесники едут на машинах, стыдят бывших колхозников: лес горит! Вы-то, вы-то почему ничего не предпринимаете?! Спасать надо! «Вот ты и спасай, а мне шесть досок на гроб найдётся» – ответит, случается, обездоленный бывший колхозник. Не перевелись народные мстители: побрёл человек в лес, якобы глянуть, будут ли сейгод ягоды, а сам вырубки поджигает: всё гори! Не мне и не вам!

Живёт народ сознанием того, что из родной избы не выселят.

«Дурак ты, батька, – продолжает разговор с отцом Колька, – ведь говорил: плюнь на всё, перебирайся в райцентр, сегодня не сомнут, завтра сомнут. Привязались с маткой к своим соткам... Тебе-то какое дело до всех? О тебе кто печётся? Нет, так почему тебе больше всех надо?.. Лошадь под жильё продаёт здание бывшего аэропорта, поделить на клетки – всей деревне места хватит. Каждый день митинги, собрания, и звать никого не надо, все в одном стаде», – Колька расхохотался, представив, как Вася Лысый Умник кричит в здании бывшего аэропорта, требуя найти «гадов» и хлестать их батогами. Колька сам

не знает, какая жизнь ожидает его завтра, неясны и смутны представления о ней. Одно понимал он, и скорее чувствовал, что нет места порядочности... «Надо же, стареть начинаю, о грехах подумываю... нынче впору спрятаться под большой бабкин чугун и не высовываться...» Потом начинает злобиться на деревенских мужиков: забыли, что казались умнее его, задавали массу щекотливых вопросов – как ты с грехами жить станешь? – и желали всячески принизить, открытым текстом клеймили: ты – сволочь! Как только не поносили, как только не обзывали... «Волчий сват... А Волчий сват работает на американце и в ус не дуёт». К механику у Кольки давно зародилось двоякое чувство: завистливой вражды и невольного уважения. Ему хотелось сравняться с механиком в развитости и выйти из унизительного положения, в которое сам себя загнал. Механик при всяком разговоре предлагал замысловатые вопросы и злорадно (только так Колька может охарактеризовать поведение непосредственного начальника), любовался его невежеством, ненаходчивостью. «А как же, восемнадцать лет учили механика, а чему научили? Хорошо Лошадь пристроил на лесопилке доски сушить, и езди теперь, дорогой ты наш, да двадцать верст киселя хлебать, кидай в котёл чурки. Можно Лошади намекнуть – надо намекнуть!».

Месяц без выходных работает в карьере Колька Коровин. Десять многотонных машин возят песок на дорогу «Райцентр – Великая».

Среди механизаторской братии родился слух, что Лошадь выкупает земли бывшего колхоза «Народная доля». Не верит Микола с Великой:

- А на кой леший ему колхоз?
- Ему не колхоз, ему земля нужна, нужен лес.
- Так лесу-то осталось с гулькин нос? Всё выхлестали, – не унимается Колька.

– Жираф большой, ему виднее, – уклончиво говорят мужики.

Понятен Кольке намёк: с осени Лошадь сулит ему трехкомнатную квартиру, хвалит за ударный труд. Ты, говорит, возьми у меня в долг денег на машину, не уступающую самому Жириновскому, я тебе верю.

Чего не взять, если наваливают, взял. Даже расписку не запросил босс, ещё раз повторился, что верит Николаю Ивановичу на слово, а Жириновский – мракобес.

Растаяла зиявшая в окнах ночная мгла, сменилась ночь чуть брызжущим пепельно-серым, туманным светом – шёл день. Стоит на улице Иван Иванович, и кажется ему, что стоит он над распахнутым погребом, набитым льдом. Ночью долго не мог заснуть, лежал и думал, так и сяк прикладывал услышанные слова, чувствуя во внутри один мучительный холод: чего-то будет... И он застонал – сначала слабо, потом сильнее; и уже не знал, будет с нарочитым упорством ждать боль или боли никакой нет и не будет, есть маленькая неопределенность.

У крайнего дома немного слезливой бабки Анны собирались жители всей деревни. Вышли, сбились кучей, оперлись на батоги. Замыкающий, Вася Лысый Умник, подперся костылём. Или присущая деревне стыдливая щепетильность, или гордость, что побуждает скрывать от всех думу, а навалилось на всех тревожное ожидание самого худшего: пришёл большой трактор, ведь зачем-то пришёл? Реку как перешагнул с берега на берег, такой он был большой. Переглядываются старухи, нехорошее предчувствие смущает всех. Самые дальновидные усмотрели в кабине трактора «волчьего свата» – и усы его, и сидит, как стопа, и тут зашелестела толпа: зачем пригнали большой трактор? Или Иван Иванович тоже предаёт всех, скрывает истинную суть вещей...

– Дорогу, что ли... – у бабки Анны на лице выражение наивного ребенка, широко открытые глаза смотрят на Ивана Ивановича. Обтерпелась за долгую жизнь бабка Анна, привыкла вроде ко всему и на жизнь свою одинокую рукой махнула, а тут что-то шевельнулось под самым сердцем.

– Не знаю, – дрогнул голос Ивана Ивановича, на раскрасневшемся лице супруги своей, рядом стоящей, ищет ответ.

– Кабы не Колька за рулём... Колька мучается болью своего сиротства, мстит всей деревне.

– Какой он сирота при живых родителях? Чего ему мстить? Говори да откусывай! – вспыхнул Иван Иванович.

– Молчала, Иван Иванович, да прорвало: он бы весь колхоз пятнадцать лет назад проглотил, да народ в ту пору ещё не шваль был!

Кисло улыбнулась Анна соседу Ивану Ивановичу, потыкала батожком снег, отошла.

От Курдяги до деревни полверсты – шагами много раз промерил Иван Иванович это расстояние. Пока возили песок на дорогу, он радовался: возвращается жизнь в Великую! Мой

Колька в карьере гравий в валы сгребает, старается для земляков. Ужо воротятся те, кто в райцентре обосновался, школу начальную откроют, медпункт – будет кому уколы делать, а там и магазинчик, и колхоз опять загудит – замычит...

«Да я и без тебя знаю, что сволочь он, мой Колька, но зачем, зачем ты по-живому режешь?!» – так бы и закричал Иван Иванович в ответ не только бабке, всему народу закричал бы.

Подъехала большая черная машина, из машины выскочил шофер, открыл дверку важному пассажиру.

Подошёл к народу богатый человек, представился, вежливо поздоровался. Не было ничего в нём страшного, задиристого. Точно явился перед ними уполномоченный райкома партии, из-под сдвинутых бровей мрачно и вместе с тем добродушно смотрели голубые глаза, но особенностью лица этого уполномоченного являлось выражение стремительности и необыкновенной энергии. Стоят за спиной его трое крутолобых наполеонов, руки на животах скрестили.

Покрякал богатый человек в кулак, в упоении сказал:

– Господа поселенцы! Как говорил благословенный Кук, подплывая к берегам счастливой Океании... Точнее, как завещал покойный товарищ Ельцин, теперь эта земля, – богатый человек показал рукой, как далеко простираются его владения под небесным куполом, – моя. Я всю землю выкупил, и прямо сейчас, с теми, кто во время подсуетился, зaimел паспорт на дом, у кого дом застрахован, оформлена земля в частную собственность, я заключаю договор купли-продажи. За любой дом плачу пятьдесят тысяч рублей и до свидания. У кого нет паспорта на дом, нет права собственности на землю, я даю десять тысяч и... семь футов под килем!

Толпа молчала. В ней копилась тяжесть, готовая оторваться и упасть, как нависшая капля. Тяжесть формировалась из неотвязных дум – прав был Куня! А ведь те, кто когда-то слушал Куню, гадали, – верить или смеяться?

– Не подавиешься? – резко спросил Иван Иванович.

– Товарищ Ельцин завещал откусывать столько, сколько можно проглотить. Не подавлюсь.

– А тебе кто нашу землю отдал, фашист? И кладбище твоё?! – закричал Иван Иванович.

И загомонила толпа. И захлюпали носами старухи. Словно

16 волна прокатилась и захватила людей, а может, огненная ис-

кра, родившаяся в душе одного, переметнулась в души всех; вдруг проснулась во всех разом откуда-то взявшаяся энергия, смелость, народ обретал силу от сливающегося гомона, послышались проклятия в адрес власти, крики взяться за топоры и вилы...

К Ивану Ивановичу пробрался Вася Лысый Умник, тычет того под бок.

— У нас, русаков, как у Кощея бессмертного, сила про запас склонена,— говорит, и в поворачивающееся лицо Ивана Ивановича смотрит своим страдальчески вздрагивающим лицом. Нос у Васи Лысого Умника захваченный грязными пальцами.— Может, Ваня, перед смертью живой воды испить дадут?

И бьёт тебе ладонью по горлу.

Ядовито сказал Вася Лысый Умник, задышал Иван Иванович глубоко и учащенно, будто его кололи вязальными спицами, да как всхрапнёт, ровно конь над пропастью, и бежать домой!

Деревенские онемели: добро своё спасать побежал или струсил?.. Дом Коровиных второй после дома бабки Анны, минута-другая, и несётся натоптанной по снегу тропинкой Иван Иванович обратно с топором в руке, глаза лихорадочно блестят, в голове его складывается что-то такое, что он и только он должен держать ответ за гибель деревни, за гибель колхоза. Лошадь с «жеребятами» стали пятиться к черной машине. Возбуждение, охватившее Ивана Ивановича, было одним мгновением — враг отступал, и душу охватила слабость, непонимание происходящего.

— Что ты, Ваня, Ваня! — супруга пыталась вырвать из рук Ивана Ивановича топор.

— Попугают только,— пришла на помощь супруге бабка Анна.— Сокротись, Иван, насмотрелся телевизора...

Не пугать прибыл Лошадь со своей свитой в Великую! Пальцем поманил сидящего в кабине Кольку.

— Пришёл твой час, гусар. Приступай!

— Как «приступай»? — испуганно спросил Микола с Великой.

— Свороти курятник... крайнюю халупу.

— Вы что?!

— Тебе уже не надо трехкомнатной квартиры? Или ты хочешь вернуть полученный аванс?.. Не слышу ответ, Николай Иванович!

Тихо и медленно, как осторожный вор, подъезжает Николай Иванович к дому бабки Анны. Он едет уничтожать и разрушать все прежнее очарование, своё детство: бывало, сидел он за столом бабки Анны, пил молоко, а бабка молилась, обращаясь лицом к божнице... под божницей висела на золотистой цепочке лампадка, висело на стене зеркало, которое когда-то ярко блестело и заставляло маленького Колю защуривать глаза. Он вспомнил это зеркало, представил, как разобьётся оно по его вине на мелкие кусочки, и воспоминание словно ножом скользнуло по сердцу, точно каждый осколок уже вошёл прямо в сердце. Бабка отступает, оглядывается на отходящий вместе с ней напуганный народ, Колька видит, как бабка ныряет в узенькие дверцы хлева. Трактор зависает над избушкой, нацелив большущий бульдозер на виноватую тем, что не умерла до такой поры старуху, не ставившую раньше времени избёнку... наступает тишина: Колька заглушил двигатель басурманской машины.

Бабка является на свет божий с белой, упирающейся козой на веревке.

Сидит Колька в кабине трактора, чувство тягостного одиночества обняло его и не отпускает. Он видит родную деревню, свой народ, сбившийся в испуганное стадо... в детстве он много прочёл книг про бесстрашных летчиков, танкистов, отважных моряков, готовился сам к красивому и упоительному подвигу; и немало, думалось, шло от живого воображения... и от подражания отцу, неужели погубить деревню – подвиг?..

Отпустилась от веревки бабка Анна, козе бы на деревню бежать, да что-то переклинило в козьем мозгу – под самый поднятый бульдозер! Не только бабка, весь народ так и замер: а как нож многотонный на козу падёт?

Выскочил из кабины Колька, бабка Анна к нему:

– Что же ты, Коленька,творишь-то? – жалобно крикнула бабка Анна.

Растерянная улыбка блуждала по лицу Кольки, до этого такому самоуверенному и даже надменному.

– Что, натрусили в штаны, поселенцы? – хохотнул как-то неуверенно Колька.

– Дави, Коленька, дави нас, пустокормов! И меня, и родителей... и Васю Умника. Да что, только хлеб на нас Америка изводит.

Тяжело, с присвистом дышит Иван Иванович, матерится, порывается идти смертным боем на сына, да жена всей массой давит его в глубокий снег и топором пытается завладеть.

Залез Колька на гусеницу трактора, постоял, забрался в кабину, иностранная зверюга издала рык, дернулась, было, вперёд, остановилась, и медленно поползла назад, как заслоняясь от людей огромным поднятым бульдозером.

Лошадь с «жеребятами» стали отступать.

– Наш выход, хозяин? – спрашивает один «жеребенок» шефа, доставая из-за пазухи пистолет.

– Легли в дрейф. Лишнее.

– А этого? – «жеребенок» тычет пистолетом в рычащую машину.

– Сел на риф. Клоп после смерти мстит своим запахом. Генрих Гейне.

Пустое небо жгло стужей. Снег был сухой, чистый.

Вася Лысый Умник пропустил мимо себя народ, ковыляет к Ивану Ивановичу, пальцами выбивает из носа соплю.

– Жалко машину, Иван Иванович.

– Какую ещё машину? – взорвался Иван Иванович, гневно блестя глазами.

– Американскую. Спорим на пузырь: не перешагнуть машине омут на Широком мысу.

Вася Лысый Умник с видимым удовольствием поправил на шее шарф, как-то радостно засмеялся.

– Книгу дописал? С каких таких пирогов его на Широкий мыс понесёт?

– Некий разворот в мозгах произошёл.

– У кого?

– У кого, у кого... у многих! Колонём?

Иваном Ивановичем овладело какое-то удивительно возвышенное чувство: он явственно увидел омут на Широком мысу, своего Кольку, уходящего под лёд вместе с трактором... да нет, Колька парень не промах, выплынет!

Над деревней закружился одинокий ворон. Внимательный и осторожный, опустился на поломанный снег, боком проскакал до блестящих козьих орехов, по-куриному согнул шею, клюнул раз, клюнул два и взлетел, обманутый.

## Человек – не полчеловека

При солнышке какая печаль?

С великим трудом разогнула свою старую спину Таисия Евгеньевна, серп в черемухи положила, раскашлялась, перевела дух и говорит «дедку» – мужу своему:

– Сенца на двух коз нагоим. Не нагоим, дак прикупим. Ты бы, дедко, как-набудь дал знать в большую деревню, какого мужика стоптал, поддуть бы огородец...

– Поддуть... нынче, молодая, всё частное, поддувать-то, – протяжно ответил «дедко», он же Иван Тимофеевич Хлебников.

Старуха, как могла, жала траву серпом вокруг разросшихся черемух, а он сидел, бледнолицый и одногоний, на табурете, то стучал костылём по земле, то задирал голову к небу и щурился. Прошлый год ногу ампутировали во второй раз – теперь выше колена. Медсестра при выписке обмолвилась, что, возможно, придётся отрезать и вторую ногу, а это... Перед операцией у Ивана Тимофеевича отсырели глаза не в ожидании боли, а какой-то жалости к своей «молодой», непрожитой жизни... постигшие страдания, вроде, касаются его одного, а достанутся ей. И если отрежут вторую ногу, обрубком ерзать по кровати, – лучше не жить!

– Понятное дело, а вот раньше... пускай в одном лапте копров доили, в другом на танцы бегали, а жили-то по-человечьи.

– Раньше угоры были круче, а девки слашще, – медленно сказал Иван Тимофеевич и почувствовал сладкую усталость, что охватывает всё его тело. Отвернулся: слабая на слезу его «молодая», горечь и жалость давно поселились в её глазах. Ни с того ни с сего станет прикусывать губу, да и потекли слезы.

Стоит дом под шиферной крышей, окна большие в резных наличниках, на крыше деревянный конёк. Когда-то была на голове конька узда, да сгнила со временем. Пол в избе Таисия Евгеньевна (не всяк день весела да здорова) постоянно моет, выпуклые сучья в старых половицах блестят как луковицы – старинной закалки «молодая». Строили дом в расчете на долгую жизнь, на большую семью, да, выходит, зря ломались. Летом в деревне рай Христов, а зимой беда горькая: есть в деревне колодец, да обвалился в нём сруб, и приходится таять снег.

не раздеваясь, на примостке возле печи, «молодая» на печи. В бане последний раз мылись на Троицу.

Человек – не полчеловека...

А ведь иной человек и живёт не человеком, и умирает не покойником. Этот «иной» по жизни топает, как оглоблей пишет, жилочка не дрогнет, улыбка не обмакнёт уста в мёд. Тяжело, должно быть...

Стоит человеку ослабеть, как в его организм, под нательную рубаху, под брючной ремень, тучами лезут всякие вредные микробы и начинают свою подлую разрушительную работу. Но когда становится трудно и, кажется, что нет сил справиться с лихом, надо вспоминать тех многих людей, с кем пришлось жить бок о бок, и сразу до боли в сердце становится стыдно за свою слабость.

Жизнь – это песня. Какую человек сам сложит, какую люди споют; где жизнь куют, там и песни поют. То она родниковой водой по камешкам журчит, то бедой – слезой неуютной тешит, то морозом душу выстудит, то молодым хмелем осыплет, а припевку загадает по цветку при дороге: один стебелёк и тот пошипан, – как Бог даст, так и поём, так и живём. Про старость да слабость песен никто не любит. По-молодости глаза у кузнеца жизни полыхают ухватистым заревом, места, им же в детстве обогретого возле родительских углов, мало, – глаза тяготеют далью, глазам хочется заглянуть за горизонт.

Иван Тимофеевич Хлебников не любит осень. Осеню ни дела, ни работы, всё из рук валится. Если пасмурно – ещё ничего, а как призывная голубизна проглянет, охватывает его тоска. Выбредёт за деревню, подпираясь костылями, по одичалым угорам кое-как пробирается, будто оброненные годы ищет, или распалит своё воображение: паду, думает, крестом, как ястреб на деревню, в каждое окошко загляну, с каждым человеком разговор заведу, с тем-то песню споём, с другим про жизнь посудачим... Одна беда: окошки в деревне немые, и дома пустые, и народ... весь народ – он да старуха. «Ослабла деревня» – скажет себе. Повздыхает – глаза слеза ест: где народ? В полях, раз около домов не видать?

И весну перестал любить Иван Тимофеевич. Раньше любил... Жена раньше была сильная, горячая, вечно с обветренным лицом и белой шеей... «Да-а, отплясала своё. А ведь за жнейкой шла первая, на молотилке – сноповая, как бы быстрее, да как

бы больше... Эх!» – скажет себе, глядя на свою криклившую «молодую» – «молодую» душит кашель, она задыхается, а ругаться – хлебом не корми, дай душу отвести. И чего ей мирно не живётся? Всё обиды ранние ищет, придирается по пустякам. Только сел Иван Тимофеевич за стол, жена рывком под самый нос миску с похлёбкой толкает. Он с немым вопросом к ней: нормально не поставить, что ли? «Молодую» как нечистый дух под ребро тычет: ага, не нравится? «Всю жизнь рыло воротишь! Всю жизнь я каторжанкой в прислуге прожила!» И поехала... Камнем на душу падает ему весна. Весной они с «молодой» поженились, весной и старшая дочь родилась. Трубят журавли, кричат чайки, лес копошится и исходит нежностью, пахнет свежей молодой берёзой...

День был изумительный. В покое и ангельской тишине, дремлет и жмурился от яркого солнца запечённая в глину деревня Красный Хом. Дома, домишкы, и просто гнилые избы со съехавшими остатками крыш попрятались за поваленными заборами в густых зарослях крапивы и всякой дурной травы, некогда разбитая вдребезги тракторами деревенская улица (говорят, наши дороги матом вымощены) ещё хранит следы былого нашествия, но лет через пять точно выпрявится. Под таким сонным соусом не хочется глазам искать в небесных пажитях фиалы гнева божьего – вызревают у человека мудрые мысли, вроде, хочется успеть пожить, перелистать страницы прожитого, покаяться, у всех прощения попросить, загадать судьбу внуков... А чего бы не дремать деревне, чего не жмурияться, если некому лаять, мычать, горланить, кричать, стучать, визжать?

Скрипя крылом, пролетела одинокая ворона, сунулась в густую листву берёзы против дома Хлебниковых, и сон сморил её.

Сдал Иван Тимофеевич. Ходит на костылях по деревне в большом резиновом сапоге, громадный сапог – зять привёз в подарок лет двадцать назад, голенище зычно хлещет по высохшей ноге. Тропа набита, петляет и петляет среди высокой травы. Кособочатся без присмотру дома, ветшают, в непогоду сил нет смотреть на заплаканные пустые окна – рыдают они; вот-вот с треском распахнутся обе створки рамы у Глушковых, возникнет в проёме сказочная баба Яга – Герасимовна, так закричит на всю деревню: «Чего это в экую пору от дела лытаетесь?»; увы, и Герасимовна, и почти весь народ, который он знал, ушёл в мир иной. Засушье какое-то опустилось на деревню, лес густо

просел на бывших колхозных полях. Грибы пришли к самым окнам. Зимой лось забежал – неделю урчали вокруг Красного Хома «Бураны» и слышались выстрелы, лёг возле стены Глущковых и два дня лежал. Смотрел Иван Тимофеевич лёжку: раненый лось. Оклемался, опять в лес ушёл. Крылец у Глущковых отвалился от стены, как пьяный мужик сел и задницу от земли оторвать не может. У них на меже растёт огромная сосна, заплаканная длинными смолистыми слезами. Посадил сосну Миша Глущков, когда на войну уходил. Сказывали потом: мать волчицей воет, ему в котомку харчи толкает, а сын в лес сбегал, на скорую руку сосенку выдернул, без земли, с голыми корешками принёс, посадил, да кому планида долгая создателем прописана, тот земле красы прибавит. Любит Иван Тимофеевич стоять под ней. Ель в непогоду как по покойнику воет, а сосна нет, сосна корнями как мужик лаптями в землю упирается и гудит, гудит!

Был он из той, сталинской породы, и работал на совесть, и себя ради других не жалел, простодушие, какая-то извечная доброта таилась в каждой складочке улыбающегося лица Ивана Тимофеевича. Но и чудил... Тихий свет голубоватых глаз, не-громкий голос, вызывали представление о человеке беспечном и... чудаковатом. Что греха таить, нравился он одиноким женщинам. Не нагрубит, приветливым словом одарит, с радостной готовностью поможет, чем может, а что бабе надо? В русском мужике нежности на час, всё остальное – совесть: «Копейкой не жмись, заработай рубль; гулять, так гулять – лошадей не перепрягать!». Уехал на мельницу – два дня пять мешков мелет, домой три привезёт. Попросила соседка стожары заткнуть – он и заткнёт, и сено обмечет, и переспать с соседкой согласен.

Крепко отложились чудачества в памяти «молодой», за что и укорён много раз. И пожалеет его, одногого, и поревёт, – будь всё проклято! И дрова, и вода, и сено... время шальное будь проклято! Остались в деревне они одни, продуктовая машина привезёт почтальонку раз в месяц с пенсиею – радость. Чаю попьют, новости почтальонка расскажет, поохает: и как в эдакой пустыне живёте? А новость у всей волости одна: главу района судить станут, и взятки берёт, и ворует крепко.

– А что делать, милая? Кому мы нужны, скажи? Дочери – сами бабки, власти не до нас, чем выше начальник сидит, тем больше тащит... – станет сказывать «молодая» да корявые персты

загибать, а сама на своего «дедка» поглядывает.— Вот двоё-то, дак тянем-потянем, а мне одной ночи не ночевать. Какого разу забрякало дверное кольцо, а я задремала чуток, от ума чуть не отстала. А это,— показывает на «дедка» темной жиловатой рукой,— почудить задумал. Вот, милая, живут люди по большим городам, а как живут? С пресным безразличием к жизни, а человек ведь не полчеловека, им страсть к жизни движет. Вот почему преж в нашей стране всё росло, печеным хлебом скот при Брежневе кормили, а ныне одни цены растут?.. Что картошка и ту аж из Греции везут! Как бы к нам в деревню кинчиков заморских заманить, не знаешь? Кино бы снять про русскую мёртвую деревню, про нас бы с дедком... Не каторжная ли деревня дорогу в космос торила, хуже скота нас держали, а бомбу сделали!

— Перестань-ко, перестань, молодая, душу себе и людям травить. Будто свои кинчики хуже заморских кино наснимаю, смех и только.

— Свои, дедко, прикормлены, своим надо власть хвалить, то их в шею.

Сидит Иван Тимофеевич на табурете, одноглазый, бледно-лицый. Смотрит на него Таисия Евгеньевна, вздыхает; не чудачество, благость какая-то написана на лице «дедка». Она-то знает, как много потрудился он на колхоз, и теперь не сдаётся. «Ушла из нас сила, из деревни сила ушла... Умирает наше бестияное царство... Дай ты, Господи...— шепчет про себя,— умереть в один день».

Объезжает глазами деревню Таисия Евгеньевна, как задабривает её, покинутую всеми: вот ужо-о... добрались глаза до бани — давно их нет, одни названия в памяти остались, уперлись в развалившуюся кузню. Вроде, мужики возле кузни ходят...

— Дедко, кажись, гости в деревне. Глянь-ко,— тычет рукой в сторону кузни.

Оперся на костили Иван Тимофеевич, вглядывался долго, ничего подозрительного не обнаружил.

— А дойду,— сказал решительно.

— Ещё чего! Экая травища, да упадёшь!

— Кто меня торопит, дойду.

— Не пущу одного!

Впереди «молодая» приминает траву руками и ногами, как может, за ней «дедко» пыхтит, как паровоз.

Кузня ставлена до колхозов, ставил Мишка, сын Герасимовны. Убили Мишку на войне. Как поставили кирпичную мастерскую на центральной усадьбе, так в кузне надобность пропала, в ней летами ребятишки играли. Вымажутся в саже – черти, крик, визг, рядом река. Накупаются, на крыше кузни позагорают и снова кричат.

Добрались до кузни – мужик в пестрой рубахе, в одних шортах, стаскивает в кучу всякие ржавые железяки. Удивился Иван Тимофеевич: как это жнейка, на которой он рожь молодым жал, до сих пор стоит у кузни и притом не разобранная?

Стали выспрашивать, чей да откуда такой ладный молодец, да как в Красный Хом попал?

– А я здешний, – говорит мужик. Глаза его, залитые потом, возбужденно блестели. – Герасимовну помните?

– Помним, – почти вместе сказали Иван Тимофеевич и Таисия Евгеньевна.

– Прабабка моя, царство ей небесное, а дед мой Михаил вот тут... его это кузня.

– Твоя правда. Стало быть, ты Глушков... звать-то как? – согласился Иван Тимофеевич.

– По дедку: Михаилом.

– Баяли, Миша, рыбу ловить в Архангельск уехал, а ты... – заговорила, было, Таисия Евгеньевна и осеклась: гордость вздыбилась на лице мужика, зверовато заводил глазами.

– А я вот тут промышляю, – говорит мужик, раздувая ноздри.

– Такая жизнь пошла... кучерявая, – примирительно говорит Иван Тимофеевич. – Ты бы зашёл к нам, чайку попил, рассказал, чего на свете творится.

– Воры кругом, вот что творится!

Сила в мужике лешачья, ноги толстущие, волосатые. Завидно Ивану Тимофеевичу: ему бы такие ноги, разве бы дозволил он «молодой» серпом траву жать? Чего бы он не дал сейчас, чтобы один раз пробежать на таких крепких ногах по родной деревне!

Прибрели старики домой, устали до смерти.

– Много, наверно, нового этот Мишка знает, – говорит за самоваром Иван Тимофеевич, – вот бы послушать... этот везде бывал. Воры, говорит, кругом, интересно...

Темное, морщинистое лицо «молодой» зашлось смехом. Насмеялась – даже кашель на сей раз отступил, притворно говорит:

— Вроде. и сам не промах, а?

— Я вот чего думаю: разве до Мишки Глушкова не было сборщиков металлолома? Были. А почему они тогда кузню обошли? На помойке ведра ржавые и те собрали, а кузню обошли. Вот, молодая,— Иван Тимофеевич повернулся к образам. На божнице стоял образок теперешнего письма — почтальонка принесла два года назад под самое Рождество,— а уж... вот сберёг же, а?

«Молодая» пожала плечами:

— Не знаю.

Закат угасал медленно. Нехотя валилось солнце в тёмный ельник Югорского угора (больно крут угор, высятся ели — не взять трактору, да всё равно ельник скоро погубят), валилось и как оглядывалось на Красный Хом; воздух ещё не остыл, а от реки, с некошеных наволоков, ночь уже расстилала белые холсты туманов. И раз вышел со двора Иван Тимофеевич, и другой, то на понурого, свесившегося с крыши коня посмотрит, то в сторону кузни — гвоздём засел в голове Ивана Тимофеевича один вопрос.

Утром шел блестящий и крупный дождь. Небо напряглось. Оно тащило сырье тяжелые тучи. Пахнущие сыростью облака, толкаясь и теснясь, неслись к земле.

Хотелось молчать и думать.

Иван Тимофеевич сидел на крыльце, смотрел, как одуревшие за ночь мухи бьются о стекла.

«Молодая» выразила желание посидеть рядом с мужем. Принесла горячего чаю, печенья, поставила кружки прямо на ступеньки. Во всех её движениях была вдумчивая опрятность, свойственная женщинам.

Пил чай Иван Тимофеевич с чинным, приятным наслаждением, кушал печенье медленно, спокойно, сытно.

— Может, и без коз проживём? — спрашивает Таисия Евгеньевна и сама себе не верит: как можно без скотины жить?

— Жнейку не отдам! — решительно заявил Иван Тимофеевич.

«Молодая» не шелохнулась, лишь подняла руку к горлу, погладила его и раскашлялась.

— Опять чудишь? На кой ляд она тебе?

— Не отдам и всё!

Во все глаза смотрела Таисия Евгеньевна на своего «дедка».

— В избу-то как запестаёшь, стену выпиливать станешь? —

— Зачем в избу, пускай на улице стоит, под нашими окнами.

День сидит у кузни Иван Тимофеевич, и другой сидит. Таисия Евгеньевна к нему не приходит, рассердилась, говорить с «дедком» не хочет, заупрямилась: сиди, коль из ума выжился, травись мухам. И чай с печеньем не носит. «Это надо же!.. Того гляди, и вторую ногу отсадят, а ему жнейку подавай! Рехнулся, истинный бог, умом тронулся!»

Ждёт, когда мужик за железом приедет на машине. Как приедет, Иван Тимофеевич с предложением к нему: сколько, Миша, жнейка стоит, продай мне её. Продай и к моему дому доставь, и буду я тебе за то благодарен.

«Сколько скажет, сколько и подам...»

Тронет рукой стену старой бревенчатой постройки – истрескавшиеся черные бревна как горят на солнце. И даёт Иван Тимофеевич ход своим воспоминаниям: «Как вчера всё было... Ковали, пахали, косили, сеяли, рожали... Баб-то сколько за жнейкой шло, веселые, одеты празднично... «Молодую» я тогда и заприметил... А вечерами как пели душевно, послушать бы тех, родных баб и умирать... аха-ха, в одном лапте коров доили, в другом на танцы бегали...»

Проходит месяц.

Воздух стал густеть, даже лютеть, набухать туманами. Стал Иван Тимофеевич замечать, что по утрам березы возле дома как отряхиваются, роняя увесистые капли. Уходило лето и тоскующая боль одиночества всё сильнее наваливалась на стариков. Морщинистое лицо «молодой» всё больше и больше становилось ко всему безразличной. Как на грех, почтальонка с пенсиею не идёт, уж три недели просрочки...

Дремлет в кресле Иван Тимофеевич, губы у него отвисли, он жмурился неизвестно чему. Это не нравится Таисии Евгеньевне. Она демонстративно громко кашляет и говорит:

— На большую землю пойду.

— А? Чего? – спрашивает Иван Тимофеевич.

— Пойду, говорю, до народу.

— Не ходи, да что нам в деньгах-то?

— Деньги, – хмыкнула «молодая», – деньги в гроб не окладут. Пойду и всё. В сельсовет зайду, выбраню дармоедов, всё легче будет!

В полночь на Красный Хом обрушился дождь с бисерным шуршанием, капли как щебетали, скатываясь с крыши крыльца.

Сидит на крыльце Иван Тимофеевич, ждёт не дождётся свою «молодую». Другой день её нет. Вечером уходила. Смахнула улыбку, бережно запрокинула голову, как это делают женщины, чтобы нечаянная слеза на сползла на глаза, и в двери. Как ёкнуло под сердцем Ивана Тимофеевича, едва сдержался, чтобы не завыть от нахлынувшей жалости.

Выкупалось утро; наблюдает Иван Тимофеевич, как солнце с неторопливой весёлостью ломает свои копья, подсовывая их под багрянную бахрому туч; идёт день из-за реки, перекинув через плечо широкую радугу, будто банное полотенце, а под полотенцем ковыляет его «молодая», подпираясь батожком: вся вымокла, водяная пыль блестит на лице крошечными светлыми каплями.

— Тасенька! — кричит Иван Тимофеевич.

Хочется кинуть костили, хочется бежать навстречу, обнять, расцеловать.

— Ага, надоело одному-то? И я про тебя всё думала. Надо, дедко, нам с тобой в один день умирать. Меня подвезли на тракторе до самой реки — внук Настасьи Кожевиной рыбу поехал ловить. У тебя именины скоро, дай, думаю, похлопочу про жнейку, — смеётся «молодая». — Жнейку не стоптала, зато хорошую новость принесла: Мишка наш высоко вылетел, за большой стол с телефонами!

— Не понял... — удивленно тянет Иван Тимофеевич.

Он всё никак не может справиться с блаженной, расслабленной улыбкой на лице. Сладкое самозабвение, как молодой сон, не покидает его.

— Выборы были, Мишка Глушков теперь за главного, так-то!

— Надо же!.. Это хорошо, хотя зря Мишка в главари пошёл. Горяч он больно, сгорит ходко.

— Горячих и надо к рулю ставить. Наслушалась, дедко, новостей всяких, дак страшно, а мы с тобой живём как у Христа за пазухой. Тиши да гладь, да божья благодать! Одно ворьё во власть лезет, а Мишка — наш, крестьянских корней!

— Так-то оно так...

Пили чай. Смотрел Иван Трофимович на свою супружницу, на её живое лицо, на её глаза с ещё не смытой радостью возвращения, хотелось чем-то похвастаться что ли, или сказать что-то очень приятное...

— У Мишки-то Глушкова сестра есть, Файнай зовут, — не спеша говорила жена. — Так вот эта Файна... выпросилась у

брата в городской квартире пожить. Год живёт, и другой живёт, Мишка не торопит, Мишка простой, живи, сестра. Как-то приезжает он – за порог не пустила, милицию вызывала... уж как она квартиру оттяпала?..

– Измельчал народ... Вот умрёт эта Фаина, в рай ли, в ад ли попадёт, а душа страдать будет, душе квартиру ещё больше иметь захочется... А помнишь, нам мать сказывала, как эвакуированных из Ленинграда жить принимали? Последней коркой делились...

Опять Иван Тимофеевич коротает время на крыльце. Пришел на стул – не сидится. Вышел на деревню, набитой тропкой до дома Глушкиных правится. Налетел, размахивая усталыми крыльями, ветер.

Говорит Иван Тимофеевич старой сосне:

– Осень идёт... Может, и рай Христов у нас, может, и нет никакого раю, а любо здеся! Прямо тебе скажу: на тот свет большого желания не имею. Пускай скоро сырость будет, слякоть... прошлой осенью река вышла из берегов, а дождь, господи, день и ночь шёл. Да-а, а ведь пережили, и ты пережила, дай то бог и сейгод переживём. Ты не тосклившаяся, вот велю Мишке жнейку возле тебя поставить – поставит. Обещаю, слышишь? Тут род наш начинался, тут и кончится... А ты да жнейка памятью людской будете.

Ночью в космическом гигантском небе рождались и гасли таинственные огненные стрелы; сидел у окна Иван Тимофеевич, смотрел в ночь и чувствовал, что лицо его приобрело властное и самоуверенное выражение, существующее внушать «молодой» твердую веру в хороший завтрашний день.